

## ОТ АВТОРА

Как-то раз — еще в середине «нулевых» — прислала мне моя сестра из северного городка Вельска письмо: так, дескать, и так, озадачили в школе дочь (мою, значит, племянницу и по совместительству крестницу) рассказать на День Победы о родственнике, который воевал. Таковых в роду нашем было немало; только по отцовой линии три брата его родных погибли, но они, понятное дело, никак не могли ответить на вопрос племянницы. Оставался лишь наш с сестрой моей отец (для крестницы и племянницы, соответственно, дед), которого за многие годы жизни после войны я неоднократно, но безрезультатно «пытал» на указанную тему. «Отвяжись!» — вот его односложный и категоричный ответ на все мои «расскажи» да «расскажи». А ведь его «сняли с брони» и призвали в действующую армию 29 сентября 1941 года... А ведь он пулеметчик... А ведь он, кроме снегов Заполярья, где был и зенитчиком (командиром расчета), и снайпером, и связистом, прошел еще и по дорогам Восточной Пруссии в составе 2-го Белорусского фронта. Встретился с союзниками на Одере... И в ответ — «Отвяжись!»... Да разве с этим можно согласиться?! Но недаром говорят, что вода и камень точит! Раскачал-таки я своего ветерана как-то раз, и он разговорился. Да такое вдруг выложил, что был я поражен до глубины души. Потому и

рассказ этот запомнился надолго и до мелочей. Со всеми интонациями и словооборотами. А когда крестница (вернее ее мама) возникли со своей проблемой, сел я за стол и добросовестно изложил отцовские воспоминания на язык строчек. Вот как услышал, так и написал со всеми его словесными вывертами. А поскольку отец мой — Кириллов Яков Васильевич, уроженец деревни Фомино бывшего Черевковского (ныне Красноборского) района Архангельской области, для племянницы и крестницы моей Маши Дранишниковой из Вельска есть родной дед, я рассказ так просто и озаглавил. Отца нет — его не стало еще в 1999-м, ведь он был с 1910 года рождения, Царствие ему Небесное. И деревни нашей малой родины, огромной деревни Едома в несколько тысяч человек народонаселения (только колхозников в 50-е годы прошлого века было более двух тысяч!), сейчас тоже уже нет. А вот рассказ этот, к счастью, остался. И в нашей памяти будет навечно.

**“Н**а войну из нашего дому четверо ушло: я и трое моих братьев. Первым — младший брат Микола. Ему в 41-м вокурат было в армию призываться, он и попал на фронт с самого начала войны. А после него вскорости и Гриша — самый из нас старший. Леля взят был после всех, уж в 42-м, а я в самых последних числах сентября. В ту пору я в театре в Мурманске работал осветителем, и у меня была броня. И может бы, совсем мне не пришлось повоевать, да шибко много перебило наших на войне за лето-то; осенью меня директор вызывает наш да и говорит, что воевать, мол, надо-то. А как не воевать, говорю?! Мои уж братья вон вовсю воюют, — чем я отличился-то от них? А сам думаю: разнарядку тебе, наверное, спустили от военкомата — столько-то человек выделить да снять с брони, — вот ты и вызываешь нас для разговора. Иначе-то повестку — да и в строй бы. И не спрашивал бы ты никто, что хошь ли, нет ли воевать. А так-то кому охота голову по доброй воле да под пули подставлять? А ведь ишо и по чужим палить. А это ведь не чучела, хоть и чужие!

По виду-то дак вроде так и было: посмотрелся я за перво-т день, што сотни, как не тысячи, к военкоматам-то сбежались, и ползут-то все к окошкам, чуть ли не по головам ползут, што, мол, тут я, што возьмите, мол, а все и без повесток, а вроде как и добровольно. А разобратся ежели: у кажново в билете-то военном предписание, што, мол, не дожидаясь ни объявления, ни повестки, штоб явился через час ли два ли — кому как — и был готов. И сам я, пока бронь не дали, эдакой листок имел, да ведь и ты, поди-ко, тожо. Ну, нонь ежели не явишься иль запоздаешь — пожурят, буди, маленько, все равно всех атомом задушат и собратся не успеешь — а товды поди-ко, опоздай хоть на минутку... Знаешь, чево будет? На месте пристрелят как дезертира, и не пикнешь! Сколько перед войной Сталин народу-то набил — не сосчитать ведь! А для чево? А шелковыми остальные штобы сделались! И знали штобы: сказано — явиться, званит, лопни, — а явись! Иначе смерть!

Вот и нагрудило народушку-то к военкоматам сотни да тысячи в первой жо день, хоть и выходной был. Хоть и военкоматы закрыты, и мобилизацию-то только на другой день объявили. Ну, а что до меня, то, надо сказать, я же в кадровой-то пулеметчиком служил, все пулеметные системы мне знакомы, — вот, видать, выбор на меня и пал в театре нашем. Так вот уже в октябре 41-го я на передовую и попал.

Бросили нас на Мурманское направление. В ту пору там немец крепко наседад. На Москву да на Ленинград, говорят, что ишо пуще, но и на

Мурманск он давил в ту осень тожо как мога. Ведь через Мурманск да Архангельск к нам вся помощь от Америки да Англии и шла. Говрилось-то об ней немного в ту-то пору да и после-то немного, вроде как и не было ие, а она-то шла. И танки шли, и пушки, и машины, и всякая всячина. Вот ты, к примеру, про Покрышкина слыхал, поди-ко? Что он боле всех из наших немцев сбил... А чул ли ты, хоть раз, на чем же он летал? Не чул? Дак я тебе скажу, что на американских самолетах он летал и наших никаких не признавал. И моторы, говорит, у их слабы, и скорости не те, а, главное, вооружение. Из наших пулеметов, говорит, не скоро сошшыбеш, а на американских пушки. Как пластанеш из пушки-то по немцу, — тот на раз разваливается напополам! Можот, через то и насшибал боле 60-то самолетов немецких и сам живой. Наши про ево-то писали, а про самолет-от евоный ни гу-гу. Вроде как на палке человек летал! А самолеты эти и везли из Америки через Мурманск. Вот немец и пер там изо всех сил, чтобы его взять.

Нас людно нагонили-то на оборону, а орудья нету. Не подвезли ли, што ли — уж я этого не знаю. В атаку подняли — плацдарм надо было захватить на реке — а винтовка-то на пятерых одна. Схватили те, кто без винтовок-то, чево попало, да и побежали со всема. И я-то тожо. Палку в руки — вроде как ружье — да и бежать вмистях со всеми. Тут чул я как-то раз, что будто бы писака новый отыскался али доктор там какой-то исторический и взял да ляпнул где-то там в книжонке ли, в газете ли, что, мол, брехня все это, будто бы, что в армии орудья не было. Что, мол, орудья этого с избытком было, будто бы, в войсках. Так в рожу-то и плюнул бы ему за эку трепотню, попадися он мне на глаза, дак ведь не попадетча жо! Можот, и было ево сделано с избытком — орудья этово — да только што нам толку-то с того, ежели оно лежало где-то на складах, а не было в войсках.

Нам-то в атаку было приказано бежать, а не разговоры разговаривать! Вот мы и бежали да и глядели на того, у кого винтовка есть. Как упадет, дак чтоб винтовку ту схватить, чтоб хоть разок стрельнуть. Больше-то уж не удася. Густо нас бежало-то; из пулемета бы косить, дак как дитлевки на покосе повалились бы! Рядами бы целыми. Но как-то мало там у немцев было пулеметов, зато минами они заваливали нас, как горохом! Смотришь — там рвануло, тут бухнуло, этам... У кого-то руку оторвало, у кого-то ногу, а у кого-то и всю голову снесло! По леву руку от меня один бежал с дубиной, наподобие оглобли; все говрил: хоть одному да проломлю башку фашисту, мне бы только добежать бы до ево. Рвануло сбоку-то, гляжу — а у него рот-от оторвало! Верх-от есть, да нос, а низ-от оторвало подчистую весь до горла. Кровища хлещет, и язык-от лягайтча, как у собаки! И ведь бежит жо, не валитча, бедолага! Орет чево-то, кровью булькат, а все одно бежит! Вот сколько злости было в человеке! Вот до чего довели, и как хотелось добежать бы до врага да хоть одного бы укокошить! Хоть оглоблей бы, коли орудья не досталось. Будь моя воля, я бы этому мужику только за одно ево желание Героя дал! Что он, уж даже эдак изувеченный, уж полное право упасть имевший, все одно бежал и не валился. Упал, правда, потом, сердешный; уж не знаю замертво ли, как ли...

Отгонили мы тогда немцев-то. Не сосчитать сколь народу положили, но отгонили. И пуще всех мне та атака и запомнилась. И страшняя она всех была, и дурная — с бадогами да на пулеметы! Вот после войны все в кинах кажут, да в книжонках пишут некоторых, что бегут наши в атаку, да еще и орут — «За Сталина!» Брехня это самая настоящая! Можот, где-то

кто-то и орал от сумасшествия, а середь нас никто. До эдакого состояния государство довести, — с палками в атаку против мин да пуль! Нет уж; пусть писаки в книжках и орут — «За Сталина!», а мы только плевались. Ну, да матюкались ишо, штобы себя попушке разозлить да ноги легче шток переставлять... Про себя, конечно, больше-то. Сказать-то — смерть ведь, ежели политрука ты не послушашь! Заарестуют, да в «расход»! И пикнуть не успеешь, коли скажешь. Но после той атаки я к командиру батальона подошел да и говорю: что же это Вы, товарищ командир, со мной делаете? Я — кадровый пулеметчик, а вы меня с палкой бегать заставляете!?! Давайте пулемет. А он мне: а ты, говорит, хорошо ли подумал, чего сказал? Ты знаешь ли, говорит, по пулемету-то какой огонь? У нас, говорит, почти что весь состав меняется у пулеметчиков-то после боя! А я ему: все одно пулемет давай. Уж если гибнуть, так хоть не задаром, и все ж не так обидно, как с оглоблей. Ладно, говорит, как в следующем бою пулеметчиков перебьют, так я тебя и поставлю.

А тут как раз лыжная бригада стала формироваться, — я туда и попал командиром пулеметного расчета. Только зенитного. А мне-то что, не все ли равно. Главное, что пулемет. Звание сержантское дали, и стал я по самолетам лупить. Сперва-то простые были пулеметы, такие же «станкачи», только счетверенные, и много ими не насшибаешь, а крупнокалиберные-то уж после появились. Но к той поре, как я пулемет-от переклучил, у нас потише стало; немец весь на Москву да на Ленинград переключился, а после и вовсе на нашем направлении одни финны остались, и война для нас совсем другой стала. Зима, студено, оне и мы зарылись в снег, как пальники, и только патрули да секреты друг за дружкой следить стали. Вот меня в таком секрете первый раз и ранило. Замаскировались, лежим, это, в снегу-то, караулим — не идет ли кто из финнов-то — и тут кого-то из наших то ли приспичило, то ли отморозило, а финны-то ведь тоже в нашу сторону во все глаза. Заметили шевеление подозрительное, да как дали с пулеметов, — мне по башке, как колотушкой чугунной. Как лежал в снегу, так и уткнулся. Сколько пролежал потом без памяти — не знаю, но очухался. Лицо и шея вся в крови, в голове гудеж, но соображение есть. Чую справа: «Кириллова-то убило, наверно, уходить надо...» А я и чую все и сказать хочу, что живой, а пошивилитча не могу и сказать не могу, что жив. И помирать бы мне, поди-ко, в том снегу, да как-то удалось жо руку выдзынуть, дак вытащили наши на волокуше, как стемналось. Потом уж в госпитале врач мне сказал, что на пять бы миллиметров, говорит, голова твоя повыше, али пуля бы на столько же пониже пролетела — ну, там бы и остался навсегда лежать. Но вот пронесло... А на ту пору брат мой старший уж убит был, только я ишо не знал тогда про это.

А в другой раз, — это ишо до ранения было, мы тогда только начинали службу патрульную налажать да секреты, — у меня другой случай был. Я в снегу зарылся хорошо — близко стоять и то не видно — и выкатился откуда-то с угорышка один финн. На лыжах. Автомат у ево на шее висит, меня не видит — и встал. Ну, вокурат передо мной! Шагов десять ли пятнадцать — не боле. Я ево, вот как тебя, всего до самых пят разглядел, покуда он стоял да головой вертел. И пулю я ему мог положить хоть в левое ухо, хоть в правый глаз, хоть в любую ноздрю, — ну, куда хошь, но не было у меня к нему никакой злости. За што, думаю, я буду мужика стырлять?! Чево он мне худово сделал? Такой жо, как я, как все наши деревенские. И вышел вроде как на охоту... За што стырлять-то? А он все на

одном месте и головой по сторонам крутит — не чувствует, что на мужике у меня. И вот то ли вздохнул я как неловко, то ли снегом скрипнул — уж не знаю — но издал какой-то звук. Дак этот финн, ишо не понимая откуда, но понимая, что смерть это ево на голос подает, как подскочит, это, над лыжней-то вместе с лыжами, в воздухе в обратную сторону развернулся, — и только спыхало, как с глаз исчез! Я и мигнуть не успел, до того ходко! Вот ведь как натренированы эти финны были! Как будто прямо на лыжах и рождались. Но я не жалею, что ево не убил, я даже рад, что не пришлось мне это делать, что нужда не заставила — нету на моей душе греха. Хоть и палил, и из пулемета, и валились, поди-ко, какие-то от моих пуль — что станешь делать, на то и война — но вот чтобы так, чтобы прицельно, — Бог миловал, не довелось. Хотя и снайпером был. Но, правда, по другой части.

Шибко худо у нас с кормешкой было. Хоть лапу соси! А командир узнал, что сызмалетства я охотничал, и отрядил меня на этот промысел. Мы тебя, говорит, и от службы освободим, ты только накорми нас! Ну, я и ходил по лесам со своим напарником. Степа был, Ахтырка из Сумской области. Где титерю сошшыбем, где рябка, где пальника, а где-то и лося. Перед винтовкой-то не устоишь и за сто метров, а на чистом месте дак и дале.

Так вот дело-то было. Все-то рассказать, дак много времени займет, скажу только, что всякое бывало. Но все же наш участок был потише, чем где-то посередке фронта. Хоть и шибко Мурман Гитлеру нужен был, да все ж не так, как Волга, али Украина да Кавказ. Но немцев там, под Мурманом, после 42-го ни одного не видно было, а финны на нас не ползли. Хоть и союзниками были Гитлеру, а не ползли!

Ранило меня ишо раз — в руку, потом ишо — осколок в пояснице с той поры так и ношу, потом контузило, — ну, словом, било, да не вزابоль. А вот братьев повыбивало подчистую! После Гриши погиб Микола — младший, в Белоруссии уж, в конце 43-го, а от Лели последнее письмо пришло, что впереди, мол, то ли Югославия, то ли Венгрия — топеря уж не помню. А после извещение, что нет ево...

Войну свою закончил я в Германии. В конце 44-го года все фронты пошли в наступление и мы тоже. Финнов скоро разбили, и они вышли из войны. Нас тогда кого куда, и я попал на 2-й Белорусский фронт к Рокоссовскому. Небось, слышал такого маршала? И вот как я туда попал, уж под осень 44-го, так до самого конца войны мы все, считай, и наступали. Отдохнем маленько и опять немца гоним во все лопатки. Уж и не по своей земле даже, уж по Польше теперешней. И последние свои бои вели мы под Штеттином — город был такой у немцев в Пруссии, сичас Щецын в Польше. Я тогда уж опять в пехоту попал и опять пулеметчиком. Дак вот тогда перед этим самым Штеттином мы им так дали, что три дня потом и догонить-то не могли, — так они драпали! Ты токо представь: три дня мы непрерывно на марше, около 70 километров с полной выкладкой оттопали — и ни одного боя! Деру дал немец, а мы еще пуще торопились, чтобы Одер форсировать. Покуда немец не очухался да оборону не организовал на той стороне. К реке-то подошли, а туманище, — ни хрена не видко, и только один понтонный мост. А Одер широкой, да весна-то... Полный разлив! Народищу нагрудило — страсть! Ладно, хоть туман, дак самолету нас не видко, а то была бы каша там на переправе-то. А рев на берегу, крик, шум, — вот как по телевизору футбол кажут, ковды гол забьют, дак и тут так жо. Всем надо вперед и всем

скоро, а на мосту узко, вода большая, мутная, мост, как живой, — весь ходоуном! Ой, не дай Господи! Какая-то лошаденка испужалась воды-то, заурсила, и телега со снарядами одним колесом бух — и соскочила. Возщик понюжует, а лошаденке никак воз-от с места не сорвать — тяжело, — все и встало. Сзади орут: «Вперед, пока самолеты не налетели!» А куда, если лошадь поперек дороги с возом? «Спихивай ие вместе с телегой, пока не разбомбили!» Солдатики на воз-от навалились — только з уркало, — телега-то под мост! И вместе с лошадьёу! И пикнуть бедная не успела, как ие грузом да течением на дно уволокло. Вот всю войну провоевал, почти четыре года на передовой, за вычетом ранений, всякого насмотрелся, а изо всей войны больше всего мужик тот с челюстью оторванной да лошадь эта и запомнились. Лошадь — человеку помощница покорная, извечная — от человеческих же рук безвинно смерть приняла, и мужик тот, уж раненый, уж весь в крови, а все равно вперед бежавший, хоть и с оглоблей. С ружьем-то, может бы, и не запомнился — всякое бывало — а вот безоружный... в атаку с одной оглоблей... больше всего обидно эдак-то погинуть. Без толку-то. Хуже, чем на скотобойне. Там хоть мясо от забитых в пользу шло, а тут чево? Тут какая польза? Просто гонили на погибель — да и все! Ладно, хоть если напишут, что погиб, мол, смертью храбрых — все не так обидно хоть родне — а то ведь и тово не было. Напишут, что пропал, мол, без вести — и все. Спишут человека, будто ево и не было никогда. Сколько просто так-то погинуло? Подымут батальон в атаку-то, а немцы по нему из пулеметов... Половина и шагу-то не сделает, а уж убита. Нисколько жись-то не ценилась на войне! Нисколечко! И хоронить-то доводилося не всех... так, побросают кое-как землей, бывало — да и все. Оттово, поди, и сосчитать-то до сих пор не могут, сколь погибло. Али не хочут. А ведь чево проще: спроси у людей-то, сколько у ково ушло и не вернулось — скажут людито. До последнего человека сосчитать всех можно. Если не поленишься, конечно. Не считают... А можот, не дают? Можот, и веком-то не 20 миллионов? Можот, и сказать-то страшно?..

Поганое это дело — война. И не спрашивай ты меня про ие больше, не бери душу. Тот, кто был на передовой, многово не скажет — шибко тяжело на душе — а разговорчивые больше те, кто сыздале воевал. Вприглядку. Вот послушашь, другой раз, про подвиги по радио тренъжат да в книжках разрисовывають, а что это такое? Кто куда подвинулся? Кто про то на фронте думал? Написано-то гладко да складно, а на деле? А на деле: скажут бежать — побежал, скажут копать — закопался, а «огонь!» скомандуют — палишь со всех стволов. И причем тут подвиг какой-то? Работа ето такая особая мужицкая — и все. Вот, к примеру, «За отвагу» первый раз мне дали, а причем отвага-то тут? Сказали — я и сделал. Линию у нас телефонную порвало, и послать некого — все связисты перебиты. А без связи, сам знаешь, какая война. И до чево же это пакостное дело — связь на войне — не приведи Господи! И не передний край вроде бы, и не палая в тебя во время боя, и не замечает никто, пока телефон работает, а замолчи-ко он? Ведь самое распростейшее дело на фронте «языка» взять: найди только телефонный провод да разрежь ево — сичас жо кто-то приползет ево срастить! Нельзя без связи. Ну, а тут уж не зевай: прикладом по башке, рямугу в зубы, — да и волоки к своим, покуда тепленький...

Ну, дак вот: у нас линию попортило на левый фланг, а ползти некому. Командир меня и послал. Иди, говорит, Кириллов, ты все-таки

Один среди нас монтер, хоть провод выдал перед войной. А мы-то што, — я и пошел. Пополз больше-то и все по снегу. А морозишшо-то!!! Градусов пийсят, поди-ко, было, уж никак не меньше! Чул ведь ты, поди-кося, што шибко студено зимой-то первой было! Даже под Москвой морозы небывалые стояли, а што уж там говорить про нашо место. Но надо было... — вот я и пополз. Один-от конец всегда ловко найти: взял провод в руки у аппарата да и не выпускай пока не доползешь до обрыва, а вот другой... Тут всяко бывало: если специально, дак ишо и спрятают, чтоб поискал, чтобы ловчeya в плен-от захватить. Ну, я подполз и вижу, что воронка там. Снарядная ли, минная ли — уж не знаю, но следу человеческого нигде не видно. Поползал я ишо маленько, убедился, что разрывом провод оборвало, ну а дальше проще: нашел второй конец, связал, — да и домой. Чево особенново-то? А командир аж и расцеловал, как я вернулся — выручил, говорит, без связи, как без рук. К ордену представил-то, что жизнью, мол, я рисковал, — а чево я таково особенново совершил? Сказали — пошел да сделал, — вот и все. Можот, конечно, со стороны-то это и выглядело, что рисково, и сам я это понимал, и охотников на ето не было, а, в общем-то, обыкновенное дело. Ну, орденами в ту пору не шибко-то разбрасывались, и представление похерили, но медаль «За отвагу» мне за это дело дали. Самая ето главная солдатская медаль и самая высшая! А выглядело все вот вроде по-житейски. Я после тово ишо долгонько катушки таскали, покуда мы совсем не оголодали, и меня в охотники вот не определили, — провиант добывать.

А воевать, уж я говрил, закончили мы в Штеттине. Под Штеттином, верняя. Только Одер-то форсировали, к бою вроде-то бы надо, глядь — а нету никово. И воевать уж не с кем. Какое-то время погода, глядим — бежат! Бежат какие-то по полю нам навстречу — и не наши. Вроде бы палить надо-то, а никто не командует, да и те вроде как без оружия. Бежат да руки выдымают, как сдаются. И орут жо... Подбежали ближе-то, — тут мы и разглядели, что не немцы это, а союзники. И руки вызыднутые у их от радости. Я и опомниться-то не успел, а уж один меня как схватит... А у ево лапищи, как у медведя, и голова выше моей на добру четверть. Я и пикнуть не успел, как ноги от земли мои оторвались! Сграбастал он, это, меня, орет да тискает, а я-то думаю, — ну, все; сичас задавит! Всю войну прошел, — живой остался, а этот сичас задавит. Мидьвидь ведь настояшшой тот американец оказался, да ишо и черной-то, как будто в саже весь. В ухо мне орет, как паровоз, а губы-то, губы-то, ну, как присничи деревенские! Шлеп-шлеп-шлеп он, это, ими-то, а я уж весь надулся от натуги, и одна в башке-то думка — разомнет! Сичас разомнет... Он маленько хватку-то ослабил, а я земли-то под ногами все равно не чую. А он-то орет, а он-то лопочет чево-то по-своему, хоть уж потише, правда. Я момент поймал да и говрю: ты, мол, мил человек, сперва меня поставь да отпусти. Ну, он и поставил. Здогадался, поди-кося, что я уж на последнем издыхании. Поставил да и рукой-то, это, сверху по плечу как шлепанет! Плечо-то чуть мое не отвалилось — во, попало страховишшо! Кабы ишо раз, да по обем плечам дал, — по колено бы, поди-ко, в землю-то вгонил! Потом-то уж расхохотался, видя, каково мне досталось, отвертку откуда-то достал — да и мне. Обыкновенная отвертка, как и все, а он ие мне. Видать, как память, что ли. Вот с той поры отвертка-то, котора с желтой ручкой, все у нас и служит.

А после тово уж больше мы не воевали. И немца больше я после тово ни одново не видел, чтобы в форме. Граждански только, и все больше стары да малы. А немки.., — те готовы были тут жо лапки кверху задирать, только мигни! И делай с ими хоть што хошь, лишь бы их не убивал нихто. И страх в глазах у всех, как будто звери мы какие, а не люди. А разе мы звери? К нам по-звериному, дак и мы по-звериному, а к нам по-человечьи, дак и мы по-человечьи. Никакой злости у меня в ту пору к немцам не было. А к немкам, к тем дак только одна жалость в душе, да охота руку протянуть, штоб пособить хоть в чем-то. Вот всю войну провоевал со злостью на немцев, стрелял со злостью, и сичас их не могу терпеть, а товды — не-е-е-е... Товды к ним никакой злости уже не было. Может, если бы хто зверем посмотрел, дак зло бы и проснулось, но не смотрел нихто. И слава Богу, что не смотрел. Такая вот война...»

